

МИХАИЛ ПОПОВ

ЗА ОТЧИНУ И ДЕДИНУ ПОМОЛЮСЬ

*Не убоишися от страха ночного,
от стрелы летящая во дни,
от вещи во тьме преходящая,
от сряща и беса полуденного...*

Пс. 90: 5—6

ДОРОГА НА СВЯТОЙ УДЕЛ

Дорога — это всегда суета, волнение и беспокойство. То и дело поглядываешь на часы, бегаешь к расписанию, тревожно прислушиваешься к скорости транспорта, томишься на промежуточных остановках... А в этой поездке у меня не возникало никаких переживаний, настолько уверовал, что всё будет хорошо, что ничто не помешает пути на Афон, и больше того — мне туда открыта незримая “зелёная улица”.

Ничуть не обескуражило, что группу, в которую меня включили, в Домодедово не нашёл — заключил, что встречу дальше. Вылет самолёта на Салоники (Греция) задержали на несколько часов — было томительно, но терпимо, благо регистрацию прошли. В аэропорт Салоники прилетели за полночь, хотя должны были ещё по свету, но что с того? Ведь принимающая сторона встретила, гиды — русские девчата — вручили дополнительные документы и проводили к автобусам.

“Всё путём!” — говорят у нас. Так и было. Ехали автобусом часа два. Греция тонула в потёмках, редкие фонари освещали посёлки, сквозь которые или обочь которых мы проезжали. Похоже, ЕС применяет для Греции девиз нашего “развитого социализма”: “Экономия и бережливость — на каждом рабочем месте”, — то бишь в каждом дворе. Зато водитель был русский, он нас просвещал, объяснял, что да как, отвечал на вопросы.

Прибыли в Уранополис — административный центр Афонского полуострова. По два-четыре человека выходили возле отведённых им гостиниц. Я назвал свою — “Панорама-Спа” — и оставил автобус почти последним. “Туда, вверх”, — показал водитель, где мерцал фонарь, и автобус поехал дальше. Я остался один. Шевельнулось ли во мне хоть какое-то беспокойство? Ничуть. Ровно год назад, почти час в час я продирался сквозь крошечные потёмки к стенам Артемиево-Веркольского монастыря, спотыкался, падал, проваливался в колдобины, ведь не видно было ни зги. А тут-то свет мерцает, дорожка видится. Подхватив поклажу, я пошёл на свет далёкого фонаря. Маленькая

двухэтажная гостиничка была закрыта. Позвонил, обнаружив кнопку звонка. Через минуту двери отворила молодая, слегка заспанная особа. Я назвал своё имя, она, не глядяывая в путевые документы, отворила ближайшую дверь, и я очутился в номере.

На часах было три по московскому времени. Подъём, как пояснила хозяйка, “ту сэвэн”, то бишь в 7. Надо было бы сразу залечь — дорога всё же утомила. Но сначала захотелось под душ, потом чаю испить, хотя бы слабенького. Потом хотя бы конспективно записать события минувшего дня.

Проснулся без побудки и вовремя. К завтраку, по сути, не притронулся, он был скоромным (ветчина, яйцо), даже в дороге не хотелось нарушать своё постное стояние. Лишь испил чаю.

В таможене, что находится в порту, меня повезла Франсуаза — та самая хозяйка гостиницы, которую я разбудил среди ночи. Имя французское, машина немецкая — эх как всё! Впрочем, чему нынче удивляться, коли в мире всё перемешалось, как в миксере. Одну американскую кинодиву зовут вполне погречески — Пенелопа. Наши молодые мамы называют своих чад сериальными именами: Рафаэлла, Моника, Лоуренсия. Вырастет таковая, и её будут величать, например, Джеральдина Ивановна. Додумать сии парадоксы я не успел: “фольксваген”, что тебе колесница амазонки, замер. Я раскланялся, пообещав Франсуазе на обратном пути не тревожить её сон, но поняла ли она меня — не знаю.

Так было и дальше. Насколько русский здесь в ходу, я не определил. В таможене церемония оформления проходила молча: я подал свой загранпаспорт, в ответ греческий Верещагин вручил документ, заверенный печатями и подписями афонских иерархов. На улицах русской речи не доносилось, хотя, судя по виду и багажу, здесь было немало приезжих. Зато в лавках, магазинчиках и открытых кафе тут и там пестрели вывески на русском. Среди торговой пестроты, вынесенной на улицу, оказалось много икон. Тут подумалось, что мы, русские, знаем греческий язык гораздо лучше, чем греки — наш, ведь основа православия — греческая: икона, диаконос, ангелос, архангелос... И тут же поправил себя: основа общая, двуединая, ведь определение “икона” настолько родное, что ты чувствуешь его абсолютно русским.

Очередной промежуточной целью была пристань. Я шёл, не ведая пути, но целиком полагаясь на свою путеводную “зелёную улицу”. “Язык до Киева доведёт”, — говорят у нас даже во Владивостоке — собственными ушами слышал. Здесь масштабы были скромнее, а язык мне заменял нюх: я всё явственнее чуял запах моря. Море открылось в конце улочки. Оно, кажется, мерцало, угадываясь за купами платанов, а тут через шаг-другой плеснуло вдруг далью и ширью, это легендарное со времён “Илиады” и “Одиссеи” Эгейское море.

Вот тут, пожалуй, я впервые и почувствовал себя паломником. Не путешественником, не пилигримом даже, а именно паломником. Слева за бухтой начинался Афонский полуостров — древняя монашеская держава, и вот оттуда, с того теряющегося в дымке берега мне почудился какой-то зов, безмолвный и в то же время явственный зов, даже сердце скорее забилося.

ЭГЕЙСКОЕ МОРЕ

Возле причала-волнореза стоял паром. Он был похож на десантный — со створами на носу — корабль. Ощущение боевого сбора или мобилизации усиливала общая картина посадки. Здесь были только мужчины — совсем юные и убелённые сединами старцы, бледнолицые братья-славяне и чернявые обитатели ближнего поморья — и все с заплечными ранцами или походными баулами. Женщин на причале не было. Ни одной. Женщины остались позади, дабы исполнять вековечный удел ожидания — ткать в одиночестве мыслительный ковёр и вновь распускать его на пряжу.

Паломники не толпились, группками и поодиночке стягивались к трапу. Преобладала, понятно, греческая речь. Но дальше почти у самого трапа я услышал родное слово и прямо-таки бросился туда: “Здорово, братцы!” Соотечественники, православные — почти родственники, как не братцы!

Их было трое — один молодой и двое в годах. Все из Пскова. Закопёрщик у них Борис, примерно мой ровесник. Мы как-то сразу потянулись друг к другу, вместе поднялись на верхнюю палубу, оставили под навесом багаж, про-

шли на корму, да так до конца рейса и не расставались. Единственное, что докучало немного, — его постоянное курение. То-то, я заметил это сразу, у него такое бледное и рыхловатое лицо.

Из разговора выяснилось, что Борис едет на Афон восьмой раз. В очередную паломническую поездку увлѣк своих сослуживцев — они все работают в торгово-строительной фирме. А ещё Борис поделился, что везѣт в монастырь деньги на требы — причѣм мзду “на помин” и “во здравие” ему передают не только земляки-псковичи, но, узнав, что он опять собирается в святые места, посылают из Новгорода, из Петербурга...

Крещѣн Борис в детстве. Псково-Печерская лавра, по его выражению, — родной дом. Ещё когда был подростком, ему доверяли водить по подземным захоронениям экскурсии. Он ведает в подземных лабиринтах каждый закуток.

Рассказывая о себе, Борис то и дело показывал на берега, мимо которых мы проплывали. В этой ближней части полуострова растительность неброская. Здесь два года назад полыхал пожар. Огненный вал подходил к Уранополису, вот те жѣлтые проплешины на склонах — следы гарей. Спасли положение российские пожарные самолѣты, которые прибыли сюда по распоряжению Путина. Наши воздушные огнеборцы и отстояли Афон.

Над палубой беспрерывно галдят прожорливые чайки. Вода за кормой изумрудная. Одно огорчает: нет-нет да и летят туда окурки. Что у нас посреди Двины с борта “Коммунара”, то и тут в Эгейском море с борта “Святой Анны”. Ну, как эти курильщики не понимают, что хрусталь воды — драгоценность Божия, а не пепельница! И не от такого ли стрельнутого небрежно окурка и занялся на Афоне тот натворивший много бед пожар!

Слушая Бориса, я без конца оглядываю берега, мимо которых проходит наш пароход, и то и дело щѣлкаю затвором “Никона”. По склонам здесь и там, то под самым берегом, то выше, словно ласточкины гнѣзда, лепятся скиты. Слежу по карте, которую купил на причале. Скит Камена, далее — Святой Артемий, а вот загадочное название — Мегали Мони. Этот скит большой, здесь своя пристань, мощные стены, хромовые купола...

“Святая Анна” входит в бухту Зограф, это пристань Зографского монастыря, который с моря не виден — он за горным увалом.

Следующая остановка — монастырь Дохиар. Как причудливо переплелись в этих строениях века: единства, кажется, нет ни в красках, ни в формах, ни в линиях, а несмотря на это — всё в горсти, если не сказать в Божией деснице...

Следующий причал — монастырь Ксенофонт. А вот здесь стиль единый, по крайней мере, так видится с моря. Стены — как бастионы средневекового замка. На высоте не меньше пятиэтажного дома — окна-бойницы, никакой корсар не достигнет.

А вот, наконец, и наш монастырь — русская обитель Святого Пантелеймона. На фоне неяркой зелени склонов выделяются светло-оранжевая черепица крыш — это здания для паломников, а дальше — светлые монастырские стены, серебро, голубизна куполов, зелень крыш.

День солнечный. Всё сияет, приветливо встречая нас чистотой красок, лаконичностью форм, простотой и опрятностью, словно не лежит на всѣм этом печать столетий.

Подхватив поклажу, выхожу следом за Борисом на причал. Лѣгкое головокружение. От качки или от здешнего благоуханного воздуха? Впрочем, чего гадать, главное, что — слава Богу! — прибыли. Теперь перекреститься и — следом за всеми — в обитель.

ПЕРВОЕ ПОСЛУШАНИЕ

От армейских нарядов обычно отлынивают. Монастырского послушания ищут. Первое послушание нашло меня сразу — не успел даже переодеться. Архандаричный (управляющий паломническим подворьем) — сухопарый, чернородый, строгий по манерам монах — показал на собрата, который стоял на галерее: дескать, если есть силы — к нему.

Нас собралось семеро, мужики тридцати-сорока лет, и я — переросток. Переглянулись меж собой: почти отделение. Тут же послушались соответствующие реплики. По голосу ли, по улыбке выделил одного: высокий, крепкий, лицо круглое, располагающее. Лѣгкой словесной распасовкой — наряд,

кухня, “от забора до обеда” – представились друг другу, как армейские бывальцы. Обмен житейской географией прошёл в том же ключе: о, Архангельск, град архистратига Михаила! О, Курск! “А твои куряне – опытные воины!” Вот так – Павел, Михаил – мы и познакомились.

Монах Элиодор, то ли молдаванин, то ли румын, свернув с центральной аллеи на “рабочую” тропку, привёл нас к неприметному каменному складу. Здесь мы взяли большие пластиковые ящики – по паре в каждую руку – и следом за нашим “бригадиром”, облачённым в линялую рясу, вышли за жилые пределы. Решили уже, что предстоит что-то затаривать – овощи или оливки, но не угадали. Ящики сложили под навес, а сами следом за братом Элиодором спустились к морю. Здесь оказалась небольшая терраса, отделённая прибойной стеной. На ней был разбит огород (кипер) – полоса длиной в футбольное поле и шириной в его четверть.

Монах, всю дорогу молчащий, окинул нас взглядом и распределил по звеньям: трое – здесь, двое – здесь. Говорил он скупно, возможно, стесняясь акцента, зато широко улыбался. Дав задание спутникам, нас с Павлом подвёл к кустам салатного перца. Мы решили, что будем убирать стручки. Но оказалось – нет. Нам предстояло почти в буквальном смысле “задать перцу” этим кустам. В подтверждение, что мы правильно его поняли, монах ухватил ближайший метровой куст, усыпанный зелёными да красными стручками, и вырвал его. Так с корнем выдирают сорняки. Но когда плодоносные семена деградируют, они тоже подлежат уничтожению. Таков закон жизни. Иначе вся земля покроется пустоцветом да мутантами.

Перечных кустов было два ряда. Подле дозревали два ряда баклажанов. В отличие от красно-жёлтых “синенькие”, по всему видать, задались. Вот ведь как: грядка одна, а судьбы у растений разные. Так и в человеческой среде. Даже в одной семье вырастают зачастую совершенно непохожие по характеру дети. И что тут скажешь, кроме того, что на всё воля Божья. О том напомнил брат Элиодор. Отходя от нас, он добавил, что в монастыре принято работу сопровождать молитвой. Один читает Иисусову, другой, подхватывая, – Божией Матери. И так всю дорогу.

Мы с Павлом, теперь уже как напарники, принялись за послушание. Работали прилежно, без перерыва, а вот с молитвами... Нет, несколько раз всё-таки “аукнулись”, однако вскоре свернули на родимую колею. Русскому ведь при знакомстве надо сразу понять всё – кто рядом с тобой, чем дышит, о чём думает. А тем паче на чужбине, вдали от Родины, пусть и в православной стране.

Рядки свои мы гнали параллельно и рука об руку. Иные стручки, уже переспелые, осыпались – собирать их решили потом. Ботву с гроздьями зелёных перцев я поначалу относил в дальнюю кучу. Но Павел остановил: зачем? Кучковать лучше по мере надобности. А и то! Суть-то огорода и последовательность операций везде одинакова – что здесь, что у меня на Севере, что у Павла на Курщине.

Разогнув застамелую поясницу, я отыскал взглядом нашего опекуна. Монах трудился на дальней гряде. Скинув свои опорки, босой Элиодор мотыжил сухую землю. Вот так же это было сто, и пятьсот, и тысячу лет назад, когда на этих скудных суглинках топтались первые монахи со святой Руси – выходцы из донских, тверских, курских земель, коих Господь призвал сюда на православное служение. И от мысли этой и вида труждающегося мниха пахло духом вечности, а лопатки свело ознобом.

Вырвав с корнем перечные кусты, мы с напарником принялись сносить их в отвал. Это сколько же добра пропадает, подумал я на ходу, да тут же и поправил себя: добро-то это рыночное, а в пищу – я уже лизнул мякоти – оно совершенно не годится. Вот так же и в творчестве. Глядишь на иное произведение, по форме вроде бы поэма, пьеса или рассказ, а по содержанию вот такой же – хуже горькой редьки – перец.

Павел поднял с земли очередную охапку перечной дурнины и направился к отвалу. Я – соответственно комплекции, а ещё остерегаясь за свою марку светлую рубаху, – взял поменее. Напарник, видать, отметил это и предложил мне вместо переноски охвостев собирать опавшие стручки – ведь всё равно надо очищать площадь. До чего деликатный мужик! И по имени-отчеству, и извиняясь за своё предложение, дабы я не подумал, что он тут “раскомандовался”. Это не просто воспитанность. Это православное состояние, усилен-

ное монастырской средой, где всё по-братски, по справедливости, по сердечности.

Я снова разогнул поясницу. Взгляд непроизвольно потянулся к горизонту. В дымке соседнего полуострова мерцала белая тень судна. В мгновение ока из тысячелетней глубины времени меня унесло ещё дальше. Не трирема ли то Одиссея, не галера ли Ясона, что отправился в Кахетию за золотым руном?

Греция – целый мир, начало и конец мира для древних греков. Она раскинулась многоконечной звездой. Здесь столько заливов и проливов, что по периметру будет не меньше кругосветки. Но я-то ведь не за географией приехал. Я даже и Афон не собирался обходить, дабы сосредоточиться на главном – на молитве, на службе, на смиренном стоянии.

Работу мы с Павлом завершили раньше других и, испросив у брата Элиодора разрешение, отправились на подворье. Надо было сполоснуться, немного отдохнуть и подготовиться к первой монастырской службе.

ОКЛИКАНИЕ ДУШ

На храмовую службу братию сзывает благовест. Ему вторит колоколец нашего архандаларского, который обходит подворье паломников. Пора.

На выходе встречаемся с Павлом. Он здесь бывалец, ему, стало быть, и вести. Вместе трудились – вместе и помолимся.

Сначала идём вдоль нашего четырёхэтажного корпуса, потом сворачиваем на центральную аллею, обсаженную цветущими кустами и деревьями. И всю дорогу нас сопровождает тонкий летучий аромат.

В конце аллеи – широкая лестница. По каменным ступеням поднимаемся к монастырскому portalу – центральному входу. В каменном кружале, украшенном резьбой, – двустворчатые кованые ворота. Перекрестившись, входим в обитель. Свод низкой галереи. Слева – подсвеченные лампадами лики Божьей Матери и Св. Пантелеймона. Крестное знамение, поклон. Идём далее. За галереей открывается дворик, вымощенный камнями. Пересекаем его и оказываемся у входа в Пантелеймонов храм. Крестное знамение, поклон. И вот...

Высокие своды, пронизанные вечерним солнцем. Лучи, словно связи. А внизу – мягкий сумрак. По стенам и колоннам – лики святых, мерклое золото и серебро. Обхожу их следом за Павлом, прикладываясь к святыням. Ощущение приподнятости – сердце бьётся ровно, но учащённо, – а ещё робость: найти бы место, чтобы не заслонять, не мешать, не сделать неверного жеста. А Павел меж тем увлекает далее, туда, где за этим приделом есть передний, ближе к Царским вратам; там затепливают первые свечи, готовя служебный зачин.

Течением монахов и паломников нас с Павлом разносит. Однако явственно чую, как кто-то мягко понуждает меня, придавая направление движению... Помню, в детстве, когда дожидались на пристани речного колёсника, мать подтыкала меня ближе к костерку, где сидели сомлелые ранней порой малые чада, чтобы я тоже погрелся. А тут-то кто?

Храмовый сумрак, кажется, усиливается монашескими мантиями, раздвигается свечами, что возжигаются одна за другой. О начале службы возвещает голос наместника, “ветхого денми старца”, согбенная фигурка которого едва угадывается. Голос шелестит, точно трут, затепливая первый сполох богослужебного пламени. Его подхватывает другой – более ясный и благолепный.

Вот так и идёт чередом – голоса, точно свечные язычки, занимают один от другого. Одни – едва колеблясь, другие – ярко, кажется, осыпаясь незримыми живоносными искрами. И уже хор монастырский вступает – сперва один клирос, левый, потом взмётывается другой, правый. Словно белый голубь всплескивает крылами, взвиваясь под купол. А потом зажигают паникадила – огромные, в три-четыре метра в диаметре свечные люстры – и раскачивают их...

И всё это вкуче и чередовании – тихий молитвенный голос и стройный братский хор о два крыла, и сияние паникадил, качающихся в вышине, словно топовые огни корабля, одолевающего вселенскую бурю, – всё это в тот первый раз, наверное, не уместилось в моём сердце, а, возможно, переплелось с другими службами, но явственно помню: отозвалось каким-то слышимым только мне тихо-восторженным сердечно-колокольным ликованием. Меня словно приподняло над землёй. Невысоко так, впору, но я отчётливо чу-

ял — гравитация, земное притяжение немного отстали, чуть умалились. А потом явилось прозрение: не я телесно приподнялся — душа встала на цыпочки, а может, и осторожно, робея, воспарила, оставив телесное гнездовье.

НЕБЕСНЫЙ ПОЯС БОГОМАТЕРИ

Четвёртые сутки вне дома, трое из них — в пути. Однако усталости не испытываю. Наоборот — подъём, прилив сил. Едва раздался удар колокола, сзывающий на ночную службу, тотчас поднялся. Заснул живо и проснулся легко.

В кельях и по коридору подворья мерцает слабый свет, словно бабочки-голубянки облепили лампы. Это ночной режим, ограничиваемый реостатом. Электричество здесь солнечное — то, что скопилось в аккумуляторах за день, расходуется экономно, ведь и в этих широтах по осени уменьшается световой поток.

Из сумрака коридора бросаю взгляд на балкон, который выходит на море. Пара далёких, через пролив, огоньков — вот и всё, что разделяет небо и море. Ночь. Потемь. Совиная пора. На Руси говорят — ни зги. А выхожу из подворья, пересекаю воздушный мостик и — батюшки святы! — с небес льётся серебряный поток, не иначе! Мириады звёзд самой крупной чеканки. Таких и столько я не видывал нигде и никогда, даже в северной глухой тайге в декабрьскую пору. Здесь, понятно, они ближе и сияют во всю ширь, да ярко-то как!

Созвездия различаются, как в звёздном атласе, — и Большая Медведица, и Малая... Но самое удивительное — Млечный Путь. Вот он, простёрся прямо над головой. Ажурная его кисея расправлена в том же направлении, что и полуостров. И тут я делаю для себя открытие. Земной пояс Богородицы хранится в одном из двадцати афонских монастырей — Ватопеде, он отсюда через перевал. А Млечный Путь — это небесный пояс Божьей Матери. Там, в небесах, в этой кисее обозначены звёздами, как алмазами, все здешние монастыри. И вот та звезда — ближе к середине восточного края — наша обитель, русский монастырь Святого Пантелеймона.

Иду, задрав голову, дорожка освещается только звёздами, но нигде не спотыкаюсь.

Служба длится пять часов. И тут — удивительно — снова ауканье с небесами. На каком-то повороте молитвенного стояния опять зажигаются большие — несколько метров в диаметре — паникадила, их раскачивают, они кружатся, качаются, и десятки свечей создают образ звёздного неба. Удивительно. Это будто и светопредставление, и светолокание, и окликание звёзд — объяснения этому нет. Но оно завораживает.

ИСПОВЕДЬ

Ощущение приподнятости, что явилось на первой службе, не покидает меня. Душа отворена и с благоговением отзывается на всё, что открывается твоему существу.

В самом начале службы узрел чудо. Лучи вечернего солнца пронизывали верха храма, не достигая низов. И вдруг один из них преломился в многоцветном витраже и обласкал образ Св. Пантелеймона — оклад иконы так и пыхнул...

А ещё до службы заметил старца. Он сидел в дальнем конце прихрамовой галереи под иконой Спасителя, ветхий и крохотный, словно истлевающий стручок гороха. Никакой жизни, казалось, уже не было в этом чёрном кукольке, и только чётки — золотистые горошинки в иссохшей пясти — шевелились.

И всё это в череде — и молитвенная служба, и луч солнца золотой, и храмовое пение, и качание паникадил, и сумрак, в который погрузился храм на время таинства исповеди, — всё это наполнило душу таким умилением и такой — всклень — покаянной слезой, что душа моя повлекла меня на исповедь. Не рассудок, который в эту пору дремал, а она, душа моя. Встал в череду паломников, и пришёл мой час — под покровом епитрахили монастырского исповедника отца Макария я, не сдерживая слёз, открыл то, что таил едва не полжизни. Словно грех свой нужно было принести именно сюда, на Афон, к Богородичному уделу под пронизательный свет этих звёздных паникадил — очей Её.

БЕСЕДЫ ПРИ ЯСНОМ ДНЕ

На этого юношу (а в моём возрасте любой тридцатилетний – юноша) я обратил внимание сразу. Он будто вырисовался в оконце чайной. Точнее так: оконце чайной, словно багетная рама, представило портрет эпохи Ренессанса, ни больше ни меньше. Чёрная камилавка, под нею – слегка скуластый овал, большие ясные, немного навывкате глаза, строгая стрелка носа и плотно сжатые, словно остерегающиеся досужих разговоров губы. Ну, чем, скажите, не полотно кисти мастера времён позднего Возрождения – Веронезе, Караваджо или Гольбейна?!

Это было в самом начале, когда мы, паломники, пришли с пристани на постоялый двор. Ожидая очереди на “прописку”, многие устроились возле выгородки чайной за большим столом. На фаянсовых блюдах горками лежали сухарики: отдельно – ржаные, отдельно – пшеничные. Помню, удивил напиток, что пыхал парком в моей кружке, – густой, коричневого цвета. Кофе? Нет. Чай байховый? Тоже нет. Оказалось, кипрей, то бишь иван-чай, плюс всевозможные целебные травы.

Как раз перед афонской поездкой я наткнулся в интернете на сайт, посвящённый этому чудодейственному растению. Копорским чаем (фабрика в Копорске) потчевалась вся простая Россия. Русские ратники, готовясь к битве, непременно пили отвар иван-чая. А Гитлер, когда его танки достигли псковско-новгородских земель, велел срочно уничтожить ту копорскую фабрику, чтобы лишить русских воинов земной силы.

Так ли – не так ли, но напиток, которым угостил нас послушник Антоний – так зовут юношу, заправляющего чайной, – оказался весьма и весьма кстати. Это после него я так уверенно пошёл исполнять первое здесь послушание.

На другой день в урочное, отведённое для чаепития время я вновь сидел за чайным столом. Прежде чем налить чудодейственного напитка, брат Антоний преподнёс мне стопочку узо – так называется афонская аква вита, которой привечают всякого вновь прибывшего паломника. Накануне я таковой не отдавал – то ли очередь подошла к архандаричному, то ли послушника позвали куда, – о чём теперь и посетовал, и брат Антоний тотчас исправил накладку. Так что добрая монастырская традиция меня всё-таки не обошла.

В Тулу со своим самоваром не ездят – это аксиома. Однако даже и туда стоит брать свою заварку – такое у меня правило. Афон в этом смысле не стал исключением. Отведав полчасечки “копорского”, я решил заварить цейлонского.

– Можно? – осведомился у Антония.

– Запросто, – улыбнулся он, подавая свежую чашку. И словечко с Родины, и улыбка эта ясная, и весь его облик, такой ладный и пригожий, как-то живо расположили к нему. Захотелось поговорить, повыспросить, узнать, кто он и откуда. Но одно дело, когда неторопливо беседуешь, сидя за столом или на садовой скамейке, другое – так, почти “на ходу”, ведь к окошку чайной то и дело подходили паломники: тому – чаю, этому – сухариков, третьему – чистую чашку. Но делать нечего – другого времени могло не оказаться: в монастыре, как в армии, воля не своя. Потому спросил первое, что глянулось, – про облачение. Облачение послушника общее: подрясник до пят, серый жилет, чёрная круглая камилавка. Кто обеспечивает, как это делается? Антоний на это улыбнулся и ответил иносказательно, дескать, коли Господь управил оказаться здесь, в монастыре, то и обо всём прочем позаботился. Я маленько стушевался – да и то! И тогда уже прямо спросил, как он пришёл к Богу.

Родом брат Антоний из Приморья, точнее, из Благовещенска. Отец – военный, офицер-пограничник. Мать – служащая. Оба крещёные, но не воцерковлённые. Жили в гражданском браке, при этом раздельно. Когда Антоний учился в средних классах, они с матерью переехали в новую квартиру. Дом стоял напротив церкви. Сначала он заглядывал туда из любопытства, потом появилась потребность, далее – зов души. Здесь он окрестился. Стали проявляться художественные способности. Занимался в студии. После школы поступил в Красноярский художественный институт. Там, на Енисее, познакомился с одним, известным на всю Сибирь священнослужителем – его храм приезжал освящать сам Патриарх. Этот священник стал духовником молодого человека. Он-то и наставил его на монашескую стезю. За плечами брата Антония уже несколько монастырей, в том числе Валаамский. Теперь он послушник на Афоне.

Развивая тему, я спросил Антония, не было ли у него, уроженца Дальнего Востока, увлечения Востоком, ведь многие его сверстники тянутся в ту сторону, очарованные экзотикой.

“Восток канонический сокрыт, – ответил он. – На этом поле сейчас разрастаются секты. Кришнаиты – крайность. Есть более скрытные. Веганы, например. Незаметно, через бытовую экзотику они нарушают строй православной души. Увлечение этими вещами – типичная прелесть, как говорили в старину о тех, кто сбивается с истинного пути. А лукавый хорошо знает, как заманить того или иного человека в свои тенёта, тем более юного”.

Как с этим не согласиться?! Достаточно глянуть на телеэкран – так и чёхает бесовщиной. И тут поневоле вспомнишь опыт наших предков. Раньше, не так, впрочем, и давно, отроков и подростков отдавали по обету в монастыри – на год, а то и на два провожали родители своих чад. И какая же это была достойная духовная школа! В Соловецкой обители был на послушие поэт Николай Клюев, краснопевец северорусский. Там же лет через десять побывал мой будущий дед, Андрей Константинович, вечный деревенский труженик. И таких примеров множество.

Монастырь – Божья мастерская. Не кузня, а цех юстировки, доводки тонкого механизма, коим является душа. Эту мысль явили лики афонских монахов и послушников. Именно лики, а не лица. Они будто светятся изнутри, а особенно притягательны глаза. Вот с этих глаз писать бы взоры пресветлых ратников Александра Невского и Дмитрия Донского, Осляби и Пересвета. Они оттуда, из далёких веков, из первородного Православия. В этих взорах заключено то, ради чего Господь и сотворил человека.

И тут сам собой возник образ известного художественного полотна – картины Александра Иванова “Явление Христа народу”. За месяц до поездки я закончил новую повесть, в которой устами главного персонажа дал оценку этому произведению. А что, интересно, скажет по этому поводу брат Антоний, ведь у него художественное образование. “Это живопись высочайшего уровня, – сказал собеседник. – Однако образ Христа в картине не явлен”. Я кивнул – наши с ним взгляды в этом совпали. А брат Антоний, поясняя, добавил: “Многие пытались живописать Христа, но ни у кого не получилось, – он чуть помешкал, помял губами грядущее слово и тихо заключил: – И едва ли получится. . .”

ХОЖЕНИЕ ЗА ДВА МОНАСТЫРЯ

В нашей келье – четыре кровати. Две пустуют, хотя возле них вещи. Видимо, хозяева в пути – странствуют по Афону.

Мой сосед, с которым вместе поселились, – Евгений. Ему лет под сорок. Сухощавый, сосредоточенный, неулыбчивый, но улыбка, когда случается, хорошая. Он из Минска. Работает на заводе холодильников, марка “Атлант”, у меня как раз такой. Приехал Евгений на Афон вдругорядь. На сей раз вместе с о. Сергием, своим духовником.

Келья о. Сергия – напротив. Ему за пятьдесят. Загорелое – до меди – лицо, белоснежные волосы и борода, синие глаза. У него, оказывается, шестеро детей, старшему – 26, младшая дочка – в восьмом классе. Наверное, такие же обаятельные и улыбчивые.

Мои новые знакомцы собираются в путь, их цель – два соседних монастыря. Прошушь в спутники. Выходим через полчаса. Все налегке. У меня – фотокамера, в руках о. Сергия, облачённого в серый дорожный подрясник, – пакет, там ряса и клобук.

Дорога идёт вдоль моря. Позади остаётся огород, где довелось исполнять послушание. Постепенно грунтовка сужается и незаметно переходит в тропу. Земля сухая. По склону здесь и там – оливковые рощицы. Где-то прочитал, что в Греции 21 миллион оливковых деревьев. Здесь, на Афоне, – их тысячи и тысячи. Кое-где встречаются работники, которые ухаживают за деревьями и убирают плоды.

Помимо олив, попадается дрок, какие-то здешние хвойники, похожие на сосну. А вот и тёрн, колючее, усеянное шипами растение. Что, если взять на память? Тянусь к ветке, пытаюсь сломать, и накалываюсь. Ветвь гибкая, но неломкая. Венец Божий был сплетён из таких. Видимо, когда вязали, ветви рубили – либо сапожным, либо обыкновенным кухонным ножом. И может, тот, кто вязал, тоже накалосся. И кровь его потом смешалась с кровью Хри-

ста, над которым глумились, водружая колючий венец. И что потом стало с тем, кто вязал этот венец? Не вскипела ли его кровь после Голгофы, не заледенела ли, как она заледенела у сапожника Агасфера?!

Облизываю палец, а кровь всё равно точится и ещё почему-то влажнеют глаза. И я, отстав от спутников, иду, тупя глаза в сухую пыльную дорогу, похожую, наверное, на ту, по которой Христос шёл на Голгофу.

Дорога то раздвигается, то опять превращается в тропу. Навстречу идут паломники. Это греки – несколько пожилых и юноша.

– Кала!

– Здравствуйте!

Касаемся друг друга рукавами и расходимся, взмахнув на прощание руками.

Спрашиваю о Сергия, как он пришёл к Богу. Он заводит издалека, осведомляясь в свою очередь, известна ли мне хоть одна деревня, где два прихода. Устремляюсь мысленно в родные края. В селе Турчасово, где в конце XIX века крестили моих деда и бабушку, стояли два храма – зимний и летний (попутно открываю для себя, что крестили обоих, скорее всего, в зимнем, Благовещенском, потому что они родились в августе), но чтобы два прихода?!

– Вот, – торжествуя улыбается о. Сергий. – А в моём селе были.

Эти два прихода, как зримо-незримое силовое поле, и определили судьбу моего спутника. В церкви из родни никто до него не служил, хотя люди были набожные. А он пошёл по духовной стезе. Когда было немного за двадцать, уже преподавал в Московской духовной академии. А когда в конце 80-х открыли семинарию в Белоруссии, вернулся по благословию в родные места. Преподаёт в семинарии (она находится в городе Жировичи при Свято-Успенском мужском монастыре), читает лекции на теологическом факультете Белорусского университета, это не считая других поприщ, в основе которых – духовное окормление паствы.

Заговорили об особенностях афонской службы. Тут я разговор поддерживать не мог, только слушал. Из всего сказанного понял, что здешняя монастырская служба ведётся по канонам ещё первого тысячелетия.

За очередным поворотом дороги открылась большая обитель. Это оказался греческий монастырь Ксенофонт. Мои вожатые определили, что сюда мы зайдём на обратном пути. Однако, проходя мимо монастырской ограды, остановились у источника святого Андрея Первозванного. Как было не ответить хрустальной живой воды!

Монастырь Ксенофонт немного похож на средневековый европейский замок: строгие каменные стены с высокими окнами-бойницами. А монастырь Дохиар, который открылся за поворотом, чем-то напоминает горное кавказское поселение, утыканное “ласточкиными гнёздами” саклей. Но это так – на сторонний и беглый взгляд. Ведь у нас не было возможности в подробностях осмотреть архитектуру этих монастырей. Мы больше находились внутри. А внутреннее убранство этих двух монастырей в чём-то схоже с русским Пантелеймоновым монастырём, что и естественно для одного региона: те же булыжные дворики, те же лесенки, кованые ворота, схожая растительность. Разве что в нашем просторнее, открытее, воздушнее, что ли.

В монастыре Дохиар мы встретили батюшку из Сочи. Молодой, лет тридцати, дородный, румяный, пушистые волосы на пробор. Его сопровождали двое друзей, один – из Москвы, другой – из Тюмени. Они готовились к благодарственной молитве. Здесь, в Дохиаре, находится древнейшая икона Пресвятой Богородицы “Скоропослушница”. Сопровождаемые привратником, мы прошли в крохотный придел-келью, освещённую лампадкой и свечой. В затворе, подле монастырской святыни сидит “на часах” монах, который непрерывно читает каноны. Все мы в святых месте не поместились. Посчастливилось только мне. Я отстоял коленопреклоненно эту службу вместе с сочинским священником и его спутниками.

А к монастырю Ксенофонт мы возвратились с “тыла”. Наш батюшка, о. Сергий, оказался искателем новых дорог и предложил пойти сюда другим путём. Немного поплутав и слегка отклонившись от курса, мы вскоре всё-таки вышли к обители. На подходе батюшка переоделся. Завидев в монастыре русского священника, греческие служители по такому случаю отворили главный храм, днём обыкновенно закрытый. Нас сопровождал дородный, в немалых годах монах. Он пытался что-то пояснить. Но о. Сергий жестом остановил

его и заговорил на английском, который в Греции, в том числе и на Афоне, в ходу. Брови монаха поднялись домиком. Но когда о. Сергей звонко и трепетно произнёс молитву на старогреческом языке, монах засиял, как, верно, золотая греческая драхма.

В этом храме мы приложились к святыне Ксенофонта – образу Богоматери “Одигитрия” (список XIV века). А в церковной лавке о. Сергей, посоветовавшись со мной и с Евгением, выбрал икону Богородицы на Афоне – такого дивного образа Божьей Матери, ступающей по небесной тверди над своим уделом, мы доселе ещё не видели.

МОЛИТВА ЗА ДЕДИНУ И ОТЧИНУ

Четверг, 12 сентября. Повечерие. Нижний храм закрыт. Служба предстоит в верхнем. Перемена эта традиционная, она происходит еженедельно, но на сей раз видится особенно знаковой. Вчера отмечалось Усекновение главы Крестителя Иоанна. Служба шла в Пантелеймоновом храме. Нынче чтим святого благоверного князя Александра Невского и поднимаемся в Покровский храм.

Покровский храм находится ближе к небесам. Пролёты широкие и длинные. Шагаю неспешно – телесность сдерживает, но душа крылит, опережая земное. Душа чувствует нечто необыкновенное. И перемена места службы, и высота эта, на которую воздымаемся, и день памяти защитника земли русской – всё наполняет душу трепетом. За этим, чую, я и летел на Афон, это и будет главная, по крайней мере, для меня, служба. А тут и колокол подтверждает мои ощущения. В створ распахнутого окна я вижу (хочется сказать – глаза в глаза), как он содрогается, этот 13-тонный колокол-богатырь, учащая сердцебиение и оглашая благовестом все ближние и дальние окрестности, соединяя звуковым куполом православные уделы, достигая – верится! – Палестины, Сирии и России.

Храм Покровский – в сиянии благородного света. Золото икон, жар свечей, росписи небес. Всё разом охватить невозможно. Душа устремлена к главному – к молитве. Отмечаю только, что он разделён на два придела, но не поперечных, как нижний, а продольных. И разделён не сплошь, а только колоннадой да в стык колоннам рядами стасидий – стоячих кресел, повернутых друг к другу спинками.

Не теряя времени, беру свечи и обхожу иконы. Глаза туманятся, молитвы сумбурные, но они от сердца. Всем сердцем молюсь о Родине. В этом своём молитвенном порыве допускаю даже оплошность – пересекаю дозволенный алтарный предел, о чём мягко остерегает служба. Обхожу один придел, перехожу в другой. Останавливаюсь перед Распятием. Тропарь Кресту и молитва за Отечество: “Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивных даруя, и Твое сохраняя Крестом Твоим жительство”.

Душа отворена. Она жаждет братской молитвы, дабы всем миром воззвать к Господу. И вот служба начинается. Внешне традиционная, уже будто явленная тебе, она необычна по строю. Тут нет, как и в прежних песнопениях, никаких украс, никакой экзальтации. Нет ничего внешнего, декоративного. Почему же она так особенно ложится на сердце и воздымает душу, кажется, до порога предельной жертвенности? Да потому, сознаю всем своим существом, что, творимая в намоленном веками месте, обращена эта молитва к самому сокровенному, самому заветному, что гнездится в глубине именно русского сердца, что единило твоих пращуров, что передалось тебе и – даст Бог! – унаследуют твои потомки.

Житие благоверного князя Александра предстаёт в храмовом распеве как сердечная и искренняя величальная. Это песня о Родине, о её верном сыне-защитнике, о его соратниках, вedomых князем-воителем, это они, заединщики-пращурь, отстояли землю русскую на Неве, а потом и на льду Чудского озера.

А завершало службу обращение к нетленной сути Святого Александра. Все мы – монахи, послушники, трудники, паломники – подходили чередой к ковчегу с частицами его мощей и касались святыни челом и устами. Это походило на целование знамени с ликом Спаса, под которым Александр с кличем “Иду на вы!” вёл своих воинов-братьев на врага. И эта безмолвная

круговая клятва замкнула незримое кольцо: мы – наследники великой державы, наш черёд стоять за Отечество. Не посрамить чести и памяти своих героических пращуров – наш святой долг.

ДЕЛАЙ, ЧТО ДОЛЖНО

После службы, уже выйдя на монастырский дворик, встречаю Павла – моего напарника по первому послушанию. Два дня его не видел. Где пропадал? Оказывается, поднимался на Афонскую вершину – этот поднебесный амвон, что возвышается над полуостровом.

Для православного паломника такое восхождение, безусловно, подвиг – подвиг и молитвенный, и физический. Павел совершил подъём уже во второй раз.

– На сей раз тяжело далось. Наверное, больше не доведётся...

Что было тут сказать? С утра разговорился с одним батюшкой. Он в свои без малого 60 поднялся на вершину в восьмой раз. Лёгкий на подъём? А может, не отягощён грехами?

Однако Павлу этого не говорю, а успокаиваю обыденно, дескать, какие твои годы, совсем ещё молодой. Оказывается, нет – уже почти сорок. Был женат. Теперь в разводе. Не было детей, потому, видать, не сложилось. Холостякует третий год. Сам себе хозяин – такая жизнь вполне устраивает.

На правах старшего слегка попрекаю:

– А что Господь внушает? Плодиться надо.

– То так, – слегка тушуетя Павел. – Думаю...

Перевожу разговор на начало знакомства:

– А ведь послушание-то нам выпало философское... Двоим – камни с огорода убирать – “время собирать камни”. Троице – полоть грядки – “отделять зёрна от плевел”. А нам двоим – сорные побеги выдирать... – и тут же перевожу разговор на род занятий Павла: а как, дескать, с этим в миру?

Павел – юрист. Работал после окончания вуза следователем в прокуратуре. Вёл, в частности, дела по взяткам. – “Доведёшь дело до суда, а его разваливают”. – “Не дают выдирать сорняки?” – “Во-во!” Потом работал в суде. Нет, не судьёй, не прокурором, это не по нему, – адвокатом. Но адвокату иной раз приходится защищать заведомых убийц. Как тут быть?! Поработал – не выдержал, ушёл. Теперь занимается только экономическими делами. Тут совесть не марается.

Подмывает спросить: а как же там, на оставленных “грядках”? Ведь, по-ди, чертополохом зарастают. Но помалкиваю. Я Павлу не судья. Это дело его совести. Самому бы не отступать от заповеданного да стоять твёрдо на своём попреще.

* * *

Возвращаюсь к себе в келью. На сердце радостно: совершён молебен в память заступника земли русской благоверного князя Александра и молитвенное взывание за мир и Отечество. Всё в руке Божьей. И только одно не даёт покоя и нет-нет да точит укоризной: а всё ли ты сам-то, что должно, делаешь?!

ИСКУШЕНИЯ И ИСКУСИТЕЛИ

Говорят, первое впечатление – самое точное. Выходит, я не случайно представил себе послушника Антония в образе юноши времён Ренессанса, ещё не зная, что он профессиональный художник.

В самый первый день по приезде я залюбовался панно полуострова, которым расписана стена чайной. По всем приметам – это питерская школа, пояснил брат Антоний, не отрываясь от своих дел, и тут же перечислил те самые особенности.

Потом, спустя несколько дней, он показал мне свои студенческие работы – этюды, натюрморты, жанровые зарисовки, выполненные в пору учёбы в художественном вузе. Профессионала видно сразу. Вот этот пейзаж мог бы стать иллюстрацией к сборнику рассказов о природе. А вот эта сиренево-меркляя акварель – обложкой поэтического сборника.

Поминание поэтического сборника тоже возникло не случайно. Ещё прежде рисования открылось, что Антоний пишет стихи. Стихи он мне показал не сразу — день на третий, причём обставил знакомство с ними соответствующим образом.

Антоний привёл меня в амбулаторию, находящуюся подле зала ожидания и его чайной. Окинув взором шкаф с какими-то поблекшими коробками, я заметил, что препаратов тут не больше, чем у доктора Чехова, и добавил, что, возможно, они и не менялись с тех пор. Однако Антоний на это не ответил. Похоже, он и реплики моей не услышал, и иронии не заметил, весь сосредоточенный на задуманном показе. Не то чтобы он волновался, как, бывает, мандражируют начинающие авторы, громко разговаривая и жестикулируя руками. Нет. Волнение выражалось в другом — в тщательной подготовленности действия. Он усадил меня за стол, положил передо мной несколько исписанных хорошим почерком листов, а рядом — стопочку чистых листов и шариковую ручку, чтобы я, если захочу, мог что-то переписать. И после этого отправился к своим обязанностям, оставив меня наедине со своим творчеством.

Чтение рукописей, в том числе молодых авторов, — дело для меня привычное. Я этим занимаюсь последние двадцать лет, а если взять период молодёжной газеты — то выходит за тридцать. Порой достаточно одного взгляда, чтобы понять, что перед тобой — шедевр или графомания.

Стихи Антония я прочитал, не торопясь и целиком. Одно из них стал переписывать — глянулась одна строфа. Антоний вернулся через полчаса. Стихотворение я уже переписал, листок перегнул, чтобы положить в карман, начал переписывать другое.

Я не задумывался, зачем переписываю эти строки: может, просто на память, может, ту строфу использовал бы где-то в обзоре. А может, чтобы не обидеть молодого человека. Впрочем, особого значения это не имело. Ведь, давая оценку этим поэтическим опытам, я не лукавил.

Моё заключение Антоний выслушал стоя. Авторы — народ ранимый. Одно неверное слово — и либо замкнётся, либо дверью хлопнет, всякое бывало. Я старался говорить мягко и раздумчиво, осторожно разбирая строфы и подбирая для оценки слова. Нет, как редактор поблажек не позволял, не тетёшал. И всё же тон, чую, взял правильный, постепенно монолог перешёл в диалог. То есть та самая пресловутая кошка меж нами не пробежала, отчуждённости не возникло. Как тут было не радоваться, что всё получилось по-доброму, по-сердечному, по-братски?! И вдруг брат Антоний заявил, что он не хотел бы расставаться со своими стихами и даже то переписанное мною стихотворение, которое я уже положил в карман, просит возвратить.

Человеческая природа двойственна. Одни клетки отмирают, другие нарастают. Ещё не отпала мёртвая ткань, как рядом образуется живая. Переход из одного психофизического состояния в другое тоже совершается не вдруг. Так же, вероятно, как переход из мирского в монастырское.

С самого начала я пытался выведать, а как происходят эти перемены у брата Антония. Тема деликатная. Потому и вопросы задавал не всегда, наверное, точные и правильные. Зато Господь всё понял. Он сразу стал открывать, что да как, хотя я-то не сразу это смекнул. И эти рисунки — свидетельства недавнего и невозможности здесь заниматься рисованием. И эти стихи, которые являются, возможно, как компенсация рисованию, подобно то ли траве из-под поленницы или тем неправильно зреющим перцам. И эта остаточная тяга к диалогу, к общению...

Рассчитывал ли Антоний, предлагая переписать его опыты, на публикацию? Возможно. Я же не барышня, которой оставляют вирши для альбома. Сразу представился как редактор. Как к редактору он и обратился ко мне. Тогда, может быть, причиной его последнего решения стала моя нелицеприятная оценка? Тоже, пожалуй, нет. Сколько у меня на рабочем столе лежит невостребованных рукописей! Авторы уходят и напрочь забывают об их существовании.

И вот тут Господь вновь просветил меня. Я вдруг понял, какая сложная работа в душе этого молодого человека, послушника Антония, произошла за минувшие полчаса. Какой бы исход ни был, какую бы оценку я ни дал его стихам, он уже решил, что не отпустит их на волю.

Пароход отчалил, отделился от причала, но с него и на него летят ленты серпантина, соединяющие провожающих и отбывающих. Это не единение.

Миг-другой, и они порвутся. Это всего лишь иллюзия единения. Так зачем же её длить? Вот так и тут. Зачем искать скрепы в миру, ежели ты уже отринул многое. Позади остался дом, далеко-далёко мать и отец, девушка, с которой дружил, дай ей Господь счастья. А твой удел — православное служение, обретение себя в Боге. Может быть, будут востребованы способности художника, может, и поэтические навыки сгодятся — на всё воля Божья. А пока — строгий монастырский устав и ничего личного.

И вот тут я подумал о себе, о своей роли в этой ситуации. Хорошо, что не лукавил, говорил, как есть, как думаю. Ведь это, наверное, помогло брату Антонию подвести черту, снять последние сомнения: попробовал — не получилось — греха большого нет. А ежели бы стихи оказались хорошие, не гениальные, а просто добротные стихи? Как бы повёл себя я? Редактор во мне сидит крепко. Если мне попадает на глаза достойная рукопись — стихи или проза, — да даже одно-единственное стихотворение, чем-то глянувшееся, то тут я веду себя, как скупой рыцарь, “затаривая” листы в “редакционный портфель”, и без меня его оттуда уже не вытянуть. Ведь тогда вся сцена могла бы обернуться неким классическим сюжетом “Искушение святого Антония”, где в роли искушителя оказался бы не кто иной, как я. Однако если же повернуть к началу, то повод к этому искушительству подал сам Антоний. Вот ведь какой оборот выходит. И слава Богу, что всё сложилось промыслительно. Сделав шаг в сторону, Антоний тут же задумался, обратился к Небесному Наставнику и тотчас вернул свою стопу на заповеданную стезю.

Почему я так подробно размышляю об этом эпизоде? Да потому что он, видимо, характерен в череде прочих и очень важен в становлении православной души. Это урок для брата Антония, но одновременно и для меня. Я планировал, что пошлю на имя молодого послушника мирские книги — сборники классических и современных поэтов. Но под воздействием этой истории передумал: монастырскому уставу тысяча лет, а моим представлениям о мире всего лишь несколько десятилетий, чего тут противопоставлять?! Однако, глядя на небо, нет-нет да и вспомню брата Антония, особенно когда с юга чередой плывут облака — тучные коровы, как написал в своём стихотворении послушник Пантелеймонова монастыря...

ПОКЛАЖА — ВЫШЕ ГОЛОВЫ

Этого батюшку нельзя было не заметить. Его сопровождали два средних лет человека, но внимание на себя обращал именно он. Невысокий и не ахти какой кряжистый, он нёс рюкзакище вровень со своим ростом — не преувеличиваю — низ поклажи бил в подпяты, а сверху мешка выше головы топорщился ещё то ли спальный мешок, то ли походный матрас. И все, кто был в чайной, при виде батюшки-паломника невольно заулыбались.

Троица, скинув поклажу, расположилась за крайним столом, там тотчас занялся оживлённый разговор, временами переходящий в смех. Тогда, при первом взгляде, это, помню, отзывалось неодобрением: монастырь же! Но потом, когда познакомились, всё встало на свои места.

У походной жизни, как и у дороги, масса поворотов. Меня прибило к этой троице уже в конце. Они оказались из Днепропетровска. Эдуард и Виктор живут в городе, а батюшка о. Владимир служит за городом в сельской церквушке, куда его духовные чада регулярно навещаются.

Здесь, на Афоне, все они не впервые. Вновь поднялись на вершину, где уже стоят ими же вознесённые иконы. Правда, на сей раз по дороге на гору заплутали. Виктор не заметил поворота, и они протопали с десятка лишних километров, пока не спохватились. В итоге пришлось одолеть 30 км, да ещё 2 км — в гору.

Гляжу на о. Владимира: вид не спортивный, не богатырский. Неверчиво качаю головой: вот с этой кладью и за один переход? Но как? А святым духом, улыбается батюшка, ему далеко за пятьдесят, если не сказать, ближе к шестидесяти.

Странная игра природы этот батюшка! Несмотря на возраст, на незавидную внешность, — лысоватый, приплюснутый нос, мелкие глаза — он сохраняет облик мальчишки с “камчатки”, который вечно над всеми иронизирует — и над одноклассниками, и над учителями, но прежде всего — над собой, и нет ему в этом никакого уговону. Отчего так? Да оттого, прихожу к мысли, что так

его приглубил Господь. Невидный, безотцовщина, нищевод – такому лучше самому пошутить над собой, чем другие будут изводить смехом, это же верное противоядие. В итоге безунывость стала его достоянием. А когда Господь наставил его на церковное служение, она сделалась основой его проповеди. Он и утешит, пошутит, он и наставит, иронизируя. К такому батюшке-простоцу, в котором есть толика юродивого, тянутся не только ближние деревенские прихожане, но и горожане запоезживали в его обитель, а двое молодцев – им по сорок – стали духовными чадами. Нелёгкая ноша у о. Владимира, что называется, – выше головы. Но несёт он её с улыбкой, тихо посмеиваясь над собственной брэнностью.

Один только раз улыбку батюшки исказила гримаса. Это когда на каком-то повороте наших посиделок возникло имя Сталина. Оказалось, что мать о. Владимира, в те горькие годы совсем ещё девчонка, попала в неволю. Для меня эта тема давно решена. Мои кровники по отцу, тринадцать душ, в том числе и будущий отец, в 30-е годы тоже испытали гонения. В неволе честно трудились, потом, получив волю, достойно воевали, после Победы растили детей. И никто из них – ни дядья, ни тётя – ни словом не попрекнули власть. Они достойно, по-христиански несли свою житейскую ношу. Чего же, спрашивается, я, их наследник, буду как-то иначе оценивать то жестокое и одновременно великое время? Хотел было добавить, что это вон Свиандзе есть за что облаивать прошлое державы, потому как его родовой оторвали от привластного золотого корыта. Но, глянув на о. Владимира, промолчал – здесь это было неуместно.

ПУТИ ГОСПОДНИ НЕИСПОВЕДИМЫ

Неделя подходила к концу. Близилось прощание с Афоном. А не хотелось... И тут, не иначе, снизошло озарение. Самолёт мой в воскресенье. Отбывать же из монастыря назначено на пятницу. То есть более суток мне придётся обретаться в Уранополисе. Чего ради? Болтаться по лавкам, что, видимо, предусмотрено муниципальной властью? Но мне не нужен ваш “шопинг”, тем паче что и денег намененных нет. И тогда ещё в четверг я отправился к архандаричному.

Отец Евстафий, строгий неулыбчивый монах, сознающий – прости, Господи! – значение своего места, выслушав моё обращение, сделал паузу и величаво кивнул, то есть разрешил остаться в монастыре ещё на сутки. При этом тут же назначил послушание. Мне снова предстояло поработать в трапезной. Почему снова? Потому что таковое уже было накануне.

Каким долгим бывает день на Афоне! Ночь стоишь на службе, то есть не спишь. А это непросто. Иной голос, расппевающий псалмы, что тихий, ласковый ручеек. Не хочешь, обретаясь в стасидии – стоячем кресле, – а задремлешь... Не спи, паломник, не спи! Христос наставлял: не спите, а ученики заснули – и беда пришла... Не спи, паломник, внемли! Не спишь, значит, бодрствуешь, живёшь, исполняя заповеданный урок. И оттого что уже выполнил этот урок, начав новый день жизни с главного, сутки кажутся бесконечными. А этот – последний день в монастыре – день пятницы, оказался особенно каким-то... просторным.

Итак, после ночной службы, которая окончилась на рассвете, монастырская братия и паломники отправились на трапезу. Трапезная – огромный зал, расписанный от пола до потолка библейскими сюжетами. Длинные столы – на шестнадцать душ каждый. На стол ставится всё сразу, дабы разом и освятить. Во главе трапезы – наместник и архиереи. Читается разрешительная молитва. И трапеза начинается. Тут “котловое довольствие” не по отделениям, как в армии, а по гнёздам – по четыре души в гнезде. Еда простая: чечевичная похлёбка, щи или гороховый суп, на второе – бобовые или крупы, перцы, помидоры или огурцы. На десерт – гроздочка винограда или скибка арбуза. Иногда подаётся чай, какао или компот. Трапеза, кстати, происходит дважды в сутки, по понедельникам, средам и пятницам – единожды, но брюхо не бунтует, смиренное молитвами, своё место знает.

Пятничная трапеза закончилась. Благодарственная молитва – и братия и паломники, уступая первенство иерархам, потянулись к выходу. При этом служители кухни и раздачи встали у дверей, дабы принять признание за приготовленную пищу или, напротив, – хулу.

Зал постепенно опустел. Я отыскал старшего – распорядителя по кухне и трапезной – и доложил, что прибыл на послушание. Инок Озарий, высокий сухощавый монах с пронзительно ясными глазами, предложил мне на выбор несколько мест. Я напросился на вчерашнее – убирать со столов посуду, сгребая остатки пищи в отходы. Как и любое послушание, это сопровождается молитвами Иисусовой или Богородичной. Мне показалось, что будет неуместно произносить имя Господа при таком действе, о чём сказал старшему. Но задним-то умом поправился: ведь нищенка Махонька, собирая объедки, не только былины сказывала, а первым делом славил Христа. Чего тогда мне-то заноситься?!

В любое дело втягиваешься, а когда втягиваешься – оно не утомляет, появляется даже сноровка и известная лихость. Раз – и опорожнил миску от остатков, два – и поставил её на каталку. Делов-то! Брезгливость? Никакой. Скажу больше. Виноградины, оставшиеся в чашках, я почти машинально посылал в рот.

Упряг свой, как мне показалось, я завершил скорее, чем вчера, – видать, и впрямь сноровка появилась. Окинув взглядом столы, чтобы ещё раз удостовериться, что всё убрано, я подошёл к брату Озарю. Тот кивнул, давая понять, что я свободен. Лицо непроницаемое, ни улыбки, ни искорки в глазах. Но мне показалось, что он ждал моего вопроса. Может, я не первый, кто расспрашивал его; может, ему и самому хотелось оглянуться на свою прежнюю – мирскую – жизнь.

Он из Беларуси. Работал шофёром в муниципальном гараже, который обслуживал кладбище. Был женат, жизнь семейная не сложилась. Развелись. На ту пору вышла замуж младшая сестра, причём на чужую сторону – за грека. Он, брат, приехал к сестре в гости. Сват, отец мужа сестры, повёз его сюда, на Афон. Впечатление было незабываемое. Вернувшись к себе, в Беларусь, задумался: а что дальше? “Господь дал два пути, – это его слова, инока Озария. – Либо снова жениться, либо идти в монастырь. Выбрал монастырь. Зачем привыкать к миру, ежели придётся уходить?! Лучше сразу втянуться в предградие неземное”.

Взор ясный – никаких сомнений. Лишь лёгкая печаль в уголках рта. Или показалось? Я ведь человек мирской и мирское довлеет. Вот и тут... А как же долг продолжения рода? Ведь это не просто инстинкт – Господь заповедал. А тут чуть за тридцать – и в монастырь. Ломоносов по этому поводу изрекал строго: клобук до 50 лет не надевать! А я только вздыхаю. Вот мысленно юного брата Антония даже женил, обручив с одной архангельской смиренницей... Какие бы красивые дети могли народиться у этой пары! Но молчу – нет тут моего права.

Кстати, вчера на эту же, в частности, тему говорил с молодыми паломниками – ровесниками или погодками Антония. Звать их Алексей и Андрей – знаковые православные имена. Они мои соседи. Это их вещи стояли в нашей келье, а сами они все эти дни странствовали по Афону. Живут парни в подмосковном Одинцово. По образованию и профессии геодезисты, занимаются землеустройством в Московской области. Здесь, на Афоне, уже в третий раз. Ладные, спокойные, с достоинством и одновременно открытые. Православный человек не бросается в глаза, но вот эти парни в среде сверстников наверняка притягивают взгляды, особенно девушек. Оба холостые. Но Алексей, он постарше, собирается жениться. Кто же избранница? “Невест в храмах ищут”, – уклончиво отвечает молодой человек, тихо улыбаясь.

КОСА СМЕРТИ И ТРАВА ЗАБВЕНИЯ

Тот бесконечный день я начал с фотосъёмки. Внутри монастыря снимать запрещено. Обошёл-облазил с внешней стороны. Там много живописных закоулков, потайных уголков, куда не проникает солнце, но где даже на каменных стенах цветут былинки, вьюнки. Слишком далеко не заходил, памятуя предупреждение одного оптинского старца. Исследуя здешние монастырские потаи, он куда-то провалился, долго выбирался из невольной западни и потом без конца повторял одну молитву, которую там, в потеме, впервые исторг: “Господи, не суй меня туда, куда мне не надобно”.

Обойдя ближние закутки, я направился на кладбище. Оно устроено на террасе, поднятой, точно облачко, выше уровня монастырского сада. Туда

ведёт булыжная дорожка. На полпути к последнему приюту находится костница. Это небольшой домик, в котором на полках и шкафах хранятся человеческие черепа: отдельно – игуменов, отдельно – рядовых монахов. А кости – берцовые и лучевые – лежат снаружи в стеклянном, подобии большого комода, саркофаге.

*Передо мной убогий храм
Наполнен мёртвыми костями,
Они свидетельствуют нам,
Что мы такими ж будем сами.*

Эту назидательную строфу, как свидетельствует табличка, оставил монах Виталий, здешний насельник, и было это в 1905 году. По всей видимости, останки сочинителя тоже находятся в этом саркофаге.

Дело в том, что кладбище монастырское – явление подвижное, оно не застывает травой забвения. На этом клочке земли под сенью тополей и высокой булыжной стены – всего десятка два просевших могил, расположенных в два ряда. Кресты убогие, иные – просто две хворостины, перетянутые бечёвкой. На Афоне хоронят без гроба. После поминальной службы тело обвивают мантией и предают земле. Через три года могилу раскапывают. Если плоть не истлела, её закапывают вновь, при этом особенно горячо молятся за усопшего, ведь, по здешнему преданию, коли земля не приняла – у покойного были грехи, и их надо отмаливать. Но если прах собрата истаял, а косточки обрели медвяно-жёлтый цвет – покойный был праведником, его череп и кости переносятся в усыпальницу на общее погладение и почитание.

Перекрестившись и легко вздохнув о бренности человеческого бытия, я после смиренного кладбища отправился осматривать монастырский сад. С каким-то особым умилением любовался тогда цветами. Не было, кажется, ни одного куста, да что куста – даже цветка, который бы я не запечатлел. Половина снимков монастырских – это цветы, в большинстве розы.

А ещё из той съёмки запомнилась берёзка. До метра обычный ствол, тонкий, но прямой, а дальше два уродливых охвостья, разваленных на стороны. Не климат здесь для русской берёзы. Зато олеандрам, кипарисам, туям тут приволье, вон как они разрослись!

На ум пришло, что надо бы запечатлеть на фоне зелени и монастырских стен и себя, дабы осталась зримая память. По аллее шёл священник, тоже из паломников, попросил его. Батюшка о. Пётр оказался коллегой. Служит в Москве, в епархиальной газете, кормящей заключённых. Разговорились о профессиональных делах. Оказалось, что в той газете вместе с ним служит бывший редактор одного некогда популярного женского журнала. Коммерсанты от журналистики, создав невыносимые условия, вытеснили её с работы и превратили издание, прежде выходившее миллионными тиражами, в гламурную пустышку. Увы, это судьба многих и многих российских изданий, где слово подменяется пиаром, лукавством, прямым обманом и ложью.

Поблагодарив о. Петра за съёмку, я отправился дальше. Поснимал море, пристань. Заодно побродил по гальке, поискал для внучат красивых камешков. Вернувшись в монастырские пределы, снимал Богородичную беседку с тихонько воркующим фонтанчиком. Сквозь её мраморную колоннаду виделось море, и опять меня в мыслях унесло в древние греческие времена.

Вернули из Эллады в текущее время тоже греки, только современники. Мы встретились с ними возле портала. Четверо мужчин в изрядных годах. Старшему – его звали Сотирос – за семьдесят. Немного владеет русским, поскольку последние годы перед пенсией трудился в российско-греческой фирме, находившейся в Петербурге. Имя первого и последнего советского президента, названного с их стороны в качестве приветствия, я пропустил мимо ушей. Назвали бы Гагарин, на худой конец выложили бы традиционный “русский набор” – матрёшка, балалайка, спутник, а то “меченого”!.. Однако пообщались вполне дружески. Я их снимал. Они рассказали о житье-бытье, посетовали, что под эгидой ЕС жить стали хуже. Однако жить надо, растут внуки, надо помогать. Всё, как и у нас: молодые растут, старые старятся. Главное, чтобы не было войны. Это Сотирос перевёл, и они дружно закивали.

После этого я отправился в церковную лавку. Захотелось на скудные свои средства купить ещё несколько бумажных образков. Привезу домой, подарю,

пусть родные, друзья молятся... Увы, планы мои не осуществились. У портала остановили два грека. Один протягивает записку, в ней по-русски обращение о помощи: болеет дочь, нужны деньги на операцию. Сколько таких обращается и у нас. Кому-то действительно требуется помощь, а кто-то спекулирует на человеческой доброте. Здесь я не стал даже осмысливать сие. Это монастырь. Я и греки – люди православные. Раз просят, тем паче стоя, по сути, на паперти, – значит, надо. Мелочи у меня не было. Отдал ту самую купюру, прибережённую на монастырскую лавку.

НА ИСХОДЕ “БЕСКОНЕЧНОСТИ”

Ближе к вечеру встретил о. Сергия и соседа по келье Евгения. Они только что с дороги – за двое суток обошли пять афонских монастырей. Как было не порадоваться, глядя в сияющие глаза о. Сергия! Службы на разных языках, неведомые доселе распевы, древние обряды – в каждом монастыре наособицу! А святини монастырские! В Ватопеде – пояс Пресвятой Богородицы, честная глава Иоанна Златоуста. В Андреевском скиту – честная глава Андрея Первозванного. В монастыре Хиландар – оригинал иконы “Троеручница”. А какие встречи и неожиданные открытия! В сербском монастыре они встретили православных поляков, которых не так уж много в католической Польше. А тут, на Афоне, оказался знакомый священник о. Сергия, о. Теодор, со своими прихожанами. В этом же монастыре побывали у священной виноградной лозы, которой 800 лет. Чудо, что она плодоносит, каждый год являя на свет семь гроздей. Но ещё большее чудо, что она излечивает от бесплодия. Едва ли не каждая виноградинка с этой лозы – образ будущего младенца.

* * *

День был поистине бесконечным, как может быть бесконечным летний день в золотом детстве. Может, зачарованный его протяжённостью, я и упустил из внимания время. К тому же оказался за пределами обители, к тому же убаюкан был шелестом прибоя, к тому же увлёкся созерцанием рыбаков, строителей-греков, которые закидывали удочки с парапета набережной... Короче, зов колокола я не расслышал, зато увидел запыхавшегося послушника.

– К Олимпиаде готовишься?

– Звонили, – кинул он на бегу.

И только тут до меня дошло, что я прозевал службу. Пока дойду до постоя, пока переоденусь да достигну храма – повечерие и закончится. Ладно, заключил я, решив сделать себе поблажку, не велика беда. Однако к постоялому двору пошёл сразу и не в круговую, а коротким, не очень удобным путём. Пришёл в келью, собрался было передохнуть. Но дух встопорчился: перед кем лукавишь? Мигом переоделся и что было духу устремился в храм.

Эта ли досада, осознание промашки привели к дальнейшему, не знаю. Но на ночную службу я уже не опоздал. Более того – вскочил ни свет ни заря, возможно, во сне заслышав благовест. За мной поднялся новый сосед: “Что, пора?” Не помню, что ответил, и ответил ли вообще, весь устремлённый на службу. На дворе темень, небо занавешено. При мерклых отсветах дошёл, не споткнувшись. Портал приотворен. Но храм ещё закрыт. Только какой-то старец сидит на приступочке и тихо-тихо молится. Поймал часами световой блик. Батюшки светы, до службы ещё полтора часа. Что же мне привиделось-послышалось? Какой же благовест всколыхнул мою душу?

Тут подтянулся новый сосед, Анатолий. Я повинился, что всполошил его. “Ничего, – отозвался он. – Я даже рад... В тишине-то в храме постоять...”

В тот час, за час до службы, я обошёл все храмовые иконы, приложившись к ним, зажжёт свечи и перед ликом Спасителя ещё раз помолится о Родине – “да расточатся врази ея”.

г. Архангельск